

УДК 1(470)

DOI 10.25688/2078-9238.2018.28.4.02

В.В. Варава

Экзистенциальные истоки анархизма Л.Н. Толстого

В статье анализируются экзистенциальные переживания Л.Н. Толстого, которые повлияли на становление его моралистических и анархистских установок. Подчеркивается, что по отношению к творчеству писателя понятие «анархизм» употребляется не в классическом политическом смысле, а в связи с этическим переосмыслением социальной действительности. В основании экзистенциально понимаемого анархизма лежит идея разрушения всеобщей социальной конвенции, в которой зло, смерть и неправда образуют ценностное ядро.

Ключевые слова: экзистенция; этика; смерть; конвенция; «арзамасский ужас».

По словам Марка Алданова, «когда пишешь о Толстом, надо забыть последние следы претензий. Несколько случайных, отрывочных замечаний, — больше ничего» [2: с. 468]. Это замечание он делает уже после того, как написал о нем известную книгу «Загадка Толстого», признавшись, что ему так и не удалось привести писателя в «систему». Однако, в «Загадке Толстого» много важных наблюдений, дающих ключ к пониманию великого писателя. В том числе Алданов отмечает, что Толстой — это «универсально-анархический ум», который «так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти» [1: с. 33].

В этих словах выделяется эпитет «анархический», который как бы не совсем логично согласуется с такой эпической фигурой, как Толстой. Анархический, так или иначе, но это хаос, нестабильность, что-то ребячливо-несерьезное, насмешливо-безбожное. А Толстой фундаментален, бытиен, религиозен. И все же «анархический» согласуется с ним каким-то своим особым образом. Вот и В.В. Зеньковский в «Истории русской философии» характеризует его взгляды в терминах «мистического» и «педагогического анархизма» [5: с. 383]. Очевидно, что в случае с Толстым имеет место не классический анархизм, и поэтому все возвышенные трактовки Толстого не противоречат его анархизму, который в его лице приобретает характер положительного устройства жизни.

Анархизм Толстого не мешает его значимости для русской культуры и философии, которая с годами только возрастает. В.Н. Ильин в своей книге «Мирозерцание графа Льва Николаевича Толстого и его место в истории философии XIX в. В связи с судьбами пессимизма» дал очень точную и емкую характеристику русской словесной культуре и месту в ней Толстому и Достоевскому. «Лев Николаевич Толстой, — пишет Ильин, — явление такого исключительно

крупного калибра, что его одного достаточно, чтобы прославить породивший его народ и дать имя целой эпохе. Когда же такой великан является в диалектическом сопоставлении с другим грандиозным гением, каким является Достоевский, то тогда можно говорить о целом литературно-философском космосе, о явлении «планетарного масштаба» [6: с. 63–64].

Здесь очень показательным стремление определить место Толстого в истории именно философии, а не только литературы. Это место оказывается весьма значительным. В.В. Зеньковский также назвал Толстого страстным искателем правды и смысла жизни, что в данном случае выглядит не как характеристика личных свойств автора, а как типологическая особенность целой философской традиции. Это очень точные слова, которые при всех бесчисленных высказываниях о Толстом всегда будут в центре его главных характеристик.

В этом плане Толстой, бесспорно, одна из центральных фигур русской философии, для которой вопросы смысла всегда были в центре внимания. Здесь необходимо подчеркнуть, что *вопрос о смысле* в русской философии связан на глубинном уровне с *вопросом о смерти*. Причем важна не столько метафизика смерти, традиционная для западноевропейской рационалистической традиции, сколько этика смерти, имеющая в контексте отечественной философии свой особенный способ осмысления. Не будет преувеличением сказать, что *нравственный дискурс смерти* есть определяющий дискурс русской философии. И Толстой здесь ключевая фигура. Не случайно И.А. Бунин, этот, по словам В. Ильина, «законный наследник Толстого», посвятил книгу «Освобождение Толстого» главной теме в творческих и жизненных исканиях своего кумира — переживанию смерти. Бунин пишет, что к Толстому еще к колыбели слетел *ангел смерти*, наделив его «двойным зрением». «...все, что видел Толстой впоследствии», — говорит Бунин, — весь свой долгий век, переоценивалось им прежде всего под знаком смерти, величайшей переоценщицы всех ценностей» [3: с. 115].

Многие отечественные авторы, по-разному относящиеся к различным аспектам творчества Толстого, были едины в понимании того уровня рефлексии над смертью, которая отличает мысль и чувство писателя. Очень хорошо понял *танатосный радикализм* Толстого С.А. Левицкий, сказавший в своих «Очерках» следующее: «Мысль о смерти никогда не покидала Толстого, но во второй половине его жизни и творчества это “моменто мори” достигло степени навязчивой идеи, и кошмар бессмысленности жизни, обнаруживающейся в свете смерти, преследовал его неустанно, даже в счастливые периоды жизни» [8: с. 166].

Важным является внимание такого утонченного эстета и мыслителя, как Константин Леонтьев, к теме смерти у Толстого, к художественным приемам описания состояний умирания. Об этом он писал в программной статье (которую называл эстетическим этюдом) «Анализ, стиль и веяние», посвященной творчеству Толстого. В.А. Котельников отмечает важные детали: «Толстовские описания пороговых состояний и умирания вызывали пристальное внимание

критика, который первым их адекватно оценил. Особенный интерес Леонтьева к мотиву смерти у реалиста Толстого объясняется не в последнюю очередь особым отношением Леонтьева к событию смерти вообще, что обуславливается и значением этого события в его жизнечувствовании, и медицинским опытом» [7: с. 562–563].

Размышляя над «Записками сумасшедшего» Толстого, Л. Шестов в книге «На весах Иова» написал о его особом даре относительно смерти. Философ говорит, что Аристотель заложил основы научной, положительной философии, основанной на самоочевидных истинах и здравом смысле. Против этих истин не может идти даже сам Бог, и поэтому он не требует невозможного. Такая аристотелевская логика философии и основанной на ней жизни. Однако, утверждает Шестов, у смерти своя логика и свои истины, которые не считаются с нашими обычными представлениями и самоочевидными истинами, и делает важное заключение: «Только исключительные люди, в редкие минуты напряженнейшего душевного подъема, научаются слышать и понимать загадочный язык смерти. Это дано было и Л.Н. Толстому. Что ему открыла смерть? какие невозможности стали для него возможными. Ведь смерть, вопреки здравому смыслу, требует от человека невозможного и, вопреки Аристотелю, вырывает его из общего всем мира?» [12: с. 110].

Эти слова никоим образом нельзя понимать в каком-либо мистическом смысле, что Толстой был неким «духовидцем» и «прозорливцем», как часто говорят о старцах. Здесь речь о другом — об отвержении естественного порядка вещей, основанного на аристотелевской логике, фундаментом которого служит *конвенция принятия мира как должного*. Только глубинное экзистенциальное (как у Толстого) переживание смерти дает понимание иного порядка, иной логики, иного смысла, которые идут наперекор аристотелевскому «общему миру», и о чем хочет нам сказать Шестов.

Именно здесь главный *исток анархизма* Толстого, который выступил не против того или другого социального института, а против этой всеобщей конвенции. Это отвержение не теоретического плана, ибо как раз «теоретически» здесь невозможно ничего сделать, но этического. Отсюда моральный пафос, панморализм, которым все окрашено у Толстого. Этот пафос не есть морализаторство, в чем его часто упрекают, но своего рода духовное негодование, поскольку теория бессильна перед этой стеной детерминизма, создавшего общий мир, в котором сосуществуют смерть, зло и неправда.

Вот почему именно Толстой во многом и задал ту интонацию русской философии, которая отличается особым нравственным вниманием, и более точно, глубочайшей нравственной уязвленностью смертью. В.В. Зеньковский так говорит об этом: «В свете смерти жизнь открылась во всей своей непрочности: неотвратимая власть смерти превращала для него жизнь в бессмыслицу. Толстой с такой силой и мучительностью переживал трагедию неизбежности смерти, так глубоко страдал от бессмыслицы жизни, обрывающейся безвозвратно, что едва не кончил самоубийством» [5: с. 197]. Это дает основания

трактовать размышления Толстого в экзистенциальном ключе как определяющим для него способе мировидения, предвосхитившем появление «классического» экзистенциализма. Как отмечает А.А. Горелов: «Для экзистенциалистов большое значение имел опыт переживания смерти, и он же стал для Толстого основополагающим и сыгравшим огромную роль в его “духовном рождении”» [4: с. 142].

Какая-то трагическая и загадочная ненормальность, связанная со смертью, преследовала Толстого с самого раннего возраста. Тяжело пережив смерть отца в девятилетнем возрасте, которая, по его словам, «впервые поселила чувство ужаса перед смертью», Толстой всегда с особым пристально-болезненным вниманием вглядывался в смерть. Но более всего его потрясла смерть брата, по поводу которой он скажет в «Исповеди» свои знаменитые слова: «Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает» [11: с. 46]. И это непонимание, надломив могучее древо жизни, стало расти, пока не достигло высшего предела в «арзамасском ужасе». Но пока этого не произошло, Толстой занят семейной и литературной жизнью, увлечен крестьянскими школами.

Но вот в 1869 г., в год окончания «Войны и мира», с ним случается нечто, вошедшее в литературу под названием «арзамасский ужас». Это хорошо известное событие описано Толстым в «Записках сумасшедшего». «Записки сумасшедшего» — важнейший текст в творчестве Толстого, который, по словам Л. Шестова, может «считаться ключом к творчеству Толстого» [12: с. 114]. Состояние, которое пережил писатель, трудно поддается описанию и определению; часто его называют в терминах «духовного кризиса». Но более точно все-таки это состояние назвать «экзистенциальным кризисом». Это прежде всего вдруг открывшаяся *истина смерти* во всей своей полноте. Как будто слетели все защитные механизмы, и вот ничем не прикрытая смерть ворвалась чистым ужасом в бедную незащищенную жизнь маленького человека, которым себя ощутил этот могучий человек. «А теперь и не боялся, а видел, чувствовал, что смерть наступает, и вместе с тем чувствовал, что ее не должно быть. Все существо мое чувствовало потребность, право на жизнь и вместе с тем совершающуюся смерть. И это внутреннее раздиранье было ужасно. Я попытался стряхнуть этот ужас» [10: с. 327]; «Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. Надо заснуть. Я лег было. Но только что улегся, вдруг вскочил от ужаса. И тоска, и тоска, такая же духовная тоска, какая бывает перед рвотой, только духовная. Жутко, страшно, кажется, что смерти страшно, а вспомнишь, подумаешь о жизни, то умирающей жизни страшно» [10: с. 327–328].

Особенность феномена «арзамасского ужаса» в том, что здесь представлен не только страх смерти, но и страх *потери смысла*, связанный со смертью. Не только финальный ужас встречи со смертью как ничто, небытием, чем-то чудовищно-непостижимым страшит Толстого, но и сама жизнь, еще не закончившаяся, но духовно помертвевшая из-за того, что смерть, которая неотвратимо

явится когда-то, уже сейчас отбирает у жизни смысл, ее соки, радость, вкус и цвет, ее благодать. «Я живу, жил, я должен жить, и вдруг смерть, уничтожение всего. Зачем же жизнь? Умереть? Убить себя сейчас же? Боюсь. Дождаться смерти, когда придет? Боюсь еще хуже. Жить, стало быть? Зачем? Чтоб умереть. Я не выходил из этого круга. Я брал книгу, читал. На минуту забывался, и опять тот же вопрос и ужас» [10: с. 330].

В «Исповеди» раскрыта с достаточной полнотой вся глубина ужаса смерти, которую испытал Толстой в жизни. Слово «ужас» — одна из главных лексем экзистенциалистского словаря, наиболее частотно в «Исповеди», именно оно выражает последнюю глубину человеческого потрясения, которую испытывает Толстой, сталкиваясь со смертью. «Ужас тьмы был слишком велик...» [11: с. 53], — пишет Толстой на грани суицидального отчаяния. Бунин также отмечает смертоносное действие ужаса на Толстого: «Это “ужасное” постигало его всю жизнь, и чем дальше, тем все чаще и сильнее, чтобы наконец ужаснуть в некий день уже “до сумасшествия”» [3: с. 116].

Ужас у Толстого трансформируется: изначально лексема словаря повседневного языка, обозначающая крайне эмоциональное состояние-отношение негативного плана, превращается в категорию экзистенциальной философии, и шире — экзистенциального мирочувствия. Это обостренное чувство Толстого является его главной особенностью. В.Н. Ильин, анализируя личность и творчество писателя, говорит о «натуралистическом ужасе Толстого перед смертью», который проходит «лейтмотивом через все его творчество и через всю его жизнь» [6: с. 63]. «Панический ужас смерти» оказал решающее воздействие и на пессимизм, и на анархизм Толстого, в целом на его нигилистическую (опрошенческую) установку.

Глубокая экзистенциальная травма, вызванная смертью, явилась подлинным истоком и анархических идей Толстого, и так парадоксально с ними сочетающегося панморалистического усилия обновить и преобразить жизнь и культуру на началах абсолютного добра. «Экзистенциальная дыра», оставившая в сердце незаживающую рану, требовала мощного противодействия, которую Толстой обрел в абсолютной морали. Как отмечает А.А. Горелов: «Основной причиной духовного рождения Толстого следует все же признать экзистенциальный опыт ужаса, который он получил непосредственно перед созданием своей системы взглядов» [4: с. 142]. Но для этого необходимо было подвергнуть радикальной критике существующие институты культуры. В этом исток анархизма Толстого. И в этом он близок к своего рода религиозному анархизму Н.Ф. Федорова, который также подверг жесточайшей критике существующую, по его словам, «фарисейскую мораль» общества.

Феноменология ужаса, представленная в «Записках сумасшедшего», — отдельная тема. Но стоит сказать, что она во многом опередила тот шквал различных подходов к ужасу, которыми изобилует литература и философия в XX в. И вот уже в «Исповеди», окидывая взором свои терзания и потрясения, Толстой пишет из глубины мук своего отчаяния о том, что его жизнь остановилась, что

жизнь ему опостылела [11]. Перед ним как будто открылась черная бездна экзистенции, куда провалились все добрые и надежные смыслы, которыми он жил до этого. Он пишет: «...чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы без ответов в одно черное пятно» [11: с. 48].

В Толстом происходит наиболее сильное *откровение экзистенции*: «Истина была то, что жизнь есть бессмыслица» [11: с. 49]. За этим откровением проглядывает *откровение человека* — тот новый способ его описания, который появляется лишь в XIX в. и который был неизвестен предшествующей традиции, концентрировавшей свое внимание на вопросах доказательства бессмертия души и бытия Бога. Человек открывается посредством экзистенциального ужаса, и первым это сделали русские писатели Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой, чуть раньше Н.В. Гоголь и отчасти К.Н. Леонтьев. Но более всех именно Толстой, поскольку его экзистенциальный ужас достиг необычайно высокой степени интенсивности.

Это откровение экзистенциального ужаса, т. е. открытие человека в иной, ранее неведомой ипостаси его бытия, повлияло на дальнейшие этико-философские откровения о человеке, которые были совершены в философской литературе Серебряного века и позже — в эмиграции и в Советской России, например, у Андрея Платонова. Но ближайшее сходство, точнее продолжение и развитие линии «арзамасского ужаса», обнаруживается у А.П. Чехова, у которого экзистенциальные вопрошания приобретают совершенно отчетливую и ни с чем не сравнимую интонацию.

В рассказе Чехова «Архиерей», который вызвал восторженные оценки Толстого и Бунина, это выявлено с наибольшей полнотой и драматизмом. Если герой Толстого оказывается в ситуации экзистенциальной обнаженности, будучи простым человеком, то у Чехова это уже духовное лицо. В этом рассказе «Архиерей» есть слова, которые, являясь смысловой кульминацией рассказа, в то же время есть чуть ли не квинтэссенция философии человека самого автора: «Преосвященный сидел в алтаре, было тут темно. Слезы текли по лицу. Он думал о том, что вот он достиг всего, что было доступно человеку в его положении, он веровал, но все же не все было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать; и все еще казалось, что нет у него чего-то самого важного, о чем смутно мечталось когда-то, и в настоящем волнует все та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей» [12: с. 154].

Можно сказать, что здесь у духовного лица, а в его лице вообще у всех людей той эпохи *проснулась экзистенция*. Это и есть подлинное глубинное *открытие человека*: вера есть, а все равно не хватает чего-то главного. Вера и экзистенция не совпали, разошлись, и остался человек один с ностальгией по детству и надеждой на будущее. Еще раз отметим, что у Чехова здесь показан не просто человек, но архиерей, т. е. человек как бы защищенный верой от экзистенциального кризиса. Если это просто человек, ощутивший экзистенциальный

вакуум, то ему сразу будут рекомендовать религиозную терапию, объясняя, что его смятение, боль и тревога от недостатка или потери веры. А здесь именно лицо, которое уже обладает верой, вдруг понимает, что «не все было ясно», ощущает пустоту и нехватку «самого важного».

«Архиерей» Чехова, который долго и мучительно вызревал в течение пятнадцати лет, был опубликован в 1902 г., а в 1909-м — в год выхода знаменитого сборника «Вехи» — известным российским революционером и очень серьезным писателем экзистенциального плана Борисом Савинковым была опубликована повесть «Конь бледный». Здесь «арзамасский ужас» Толстого, помноженный на неистребимую чеховскую тоску, становится огромным экзистенциальным отчаянием, переходящим в самоубийственное отрицание всего. Русская экзистенция доходит здесь до своего предела и уходит в радикальное самоистребление как закономерный итог тошнотворной бессмыслицы, куда более глубокой и нестерпимой, чем сартровская тошнота.

Смерть и вместе с ней смертоносная тоска бессмысленности, совершенно не осмысленная философски и не преображенная религиозно, стала нравственным и метафизическим вызовом Толстому и в его лице наиболее думающей части русского общества. Оказалось, что в культуре отсутствуют инстанции, которые могли бы удовлетворительно ответить на эти мучительные вопрошания. Философствовать пришлось заново, открывая те истины, которыми оперировала европейская философия, начиная с Платона и примешивая к этому свой собственный ярко-трагический окрас, которым была отмечена русская жизнь.

Интересно в этом контексте наблюдение Г. Померанца, который пишет следующее: «Страх бесконечности в “Анне Карениной” и страх смерти в “Записках сумасшедшего” — в сущности, только два поворота одного и того же метафизического страха. Чувства бездны. Все метафизические страхи сливаются в один страх: страх непостижимого» [9: с. 310]. В конечном счете именно Толстой, как никто иной в русской философской культуре, выразил со всей полнотой, несомненностью и очевидностью корневое самобытное свойство русской философии, заключающееся в ее *этикоцентризме* (панморализме, по словам В.В. Зеньковского). Эта особенность приобретает такую формулировку: *этика contra метафизика* (или *смысл жизни contra тайна жизни*). Чистая метафизика, основанная или на научном, или на натурфилософском, или же на философском удивлении, не составляет основного направления русской мысли.

Поэтому в русской философии ключевые слова из этического тезауруса: смысл, добро, страдание, а не из метафизического, для которого главным является бытие, тайна, удивление. Вот именно здесь проходит коренная оппозиция русской мысли: смысл/тайна, чью сущность с наибольшей полнотой выразил именно Толстой. Экзистенциальные откровения и переживания Толстого имеют этический окрас и в конечном счете претворяются в нечто этическое, т. е. жизненно-практическое.

Толстой хотел ответить на эти вопросы, и в этом основа его рационализма. Он не мог отпустить ситуацию, оставить вопрос без ответа, в конце концов,

довериться чему-то непонятному, неизъяснимому, неведомому. Он не мог надеяться на смысл жизни, он хотел *знать* смысл жизни. Для него, как и для Федорова, не существовало тайны как реальности, пусть и метафизической, но реальности. Смерть и смысл жизни в их практической, т. е. этической связанности волновали обоих мыслителей, но не тайна смерти и не тайна смысла жизни.

Хорошее подтверждение корневому панморализму Толстого находим в книге М. Алданова «Загадка Толстого», которую он начинает с известных слов Канта: «...“две вещи наполняют мой дух вечно новым и все большим благоговением: звездное небо надо мной, нравственный закон во мне”. Эта знаменитая формула, выражающая идею совершенного, гармонического человека, может быть разделена, как в теории, так и в жизни: откиньте ее второй член, оставьте одно “звездное небо”, она вплотную приблизится к учению язычника Гёте... Напротив для Толстого-мыслителя существует только “нравственный закон”. То *das ewig Eine*, которому всю жизнь “удивлялся” Гёте, “звездное небо” Канта — в толстовстве не находят места» [1: с. 25–26].

Также оно не находит места и у Федорова, очень близкого по духу Толстому русского философа-моралиста, и следовавших за ними многих русских философов, которые внешне находились в идейной оппозиции к Федорову и Толстому, но внутренне духовно были им очень близки.

Итак, корни русского анархизма и нигилизма, а также панморализма и супраморализма — в сильнейшем переживании ужаса и неправды смерти. Русская экзистенция рождается в стихии чистой смерти, чистого ужаса смерти, который испытывает уже Гоголь и Достоевский. Затем она приобретает вид философской формулы: *этика contra метафизика*; изначальный импульс ужаса, который затем претворяется у одного в «духовное рождение» (Толстой), у другого — в «общее дело» (Федоров). Но здесь пути русской философии расходятся; толстовцы и федоровцы идут своим путем этики, а Чехов и Платонов выбирают путь метафизики. Чтобы однажды вновь встретиться.

Литература

1. Алданов М. Загадка Толстого // Алданов М. Соч.: в 6 кн. Кн. 6. Ульмская ночь. Литературные статьи. М.: Новости, 1996. С. 9–141.
2. Алданов М. О Толстом // Алданов М. Соч.: в 6 кн. Кн. 6. Ульмская ночь. Литературные статьи. М.: Новости, 1996. С. 468–478.
3. Бунин И.А. Освобождение Толстого // Бунин И.А. Собр. соч.: в 6 т. М.: Худ. лит., 1988. Т. 6. С. 5–146.
4. Горелов А.А. Экзистенциальные основы «духовного рождения» Л.Н. Толстого // Знание. Понимание. Умение. 2014. № 1. С. 142–152.
5. Зеньковский В. История русской философии. М.: Академический проект, Раритет, 2001. 880 с.
6. Ильин В.Н. Мирозерцание графа Льва Николаевича Толстого и его место в истории философии XIX века. В связи с судьбами пессимизма. СПб.: РХГИ, 2000. 480 с.

7. *Котельников В.А.* Эстетика и критика Константина Леонтьева // Леонтьев К.Н. Полн. собр. соч. и писем: в 12 т. Т. 9. СПб.: Владимир Даль, 2014. С. 497–573.
8. *Левицкий С.А.* Очерки по истории русской философии. М.: Канон, 1996. 496 с.
9. *Померанц Г.* Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М. СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. 416 с.
10. *Толстой Л.Н.* Записки сумасшедшего // Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 14 т. М.: Худ. лит., 1952. Т. 10. С. 337–345.
11. *Толстой Л.Н.* Исповедь // Толстой Л.Н. Не могу молчать. М.: Сов. Россия, 1985. С. 39–97.
12. *Шестов Л.* На весах Иова. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2001. 464 с.

Literatura

1. *Aldanov M.* Zagadka Tolstogo // Aldanov M. Soch.: v 6 kn. Kn. 6. Ul'mskaya noch'. Literaturny'e stat'i. M.: Novosti, 1996. S. 9–141.
2. *Aldanov M.* O Tolstom // Aldanov M. Soch.: v 6 kn. Kn. 6. Ul'mskaya noch'. Literaturny'e stat'i. M.: Novosti, 1996. S. 468–478.
3. *Bunin I.A.* Osvobozhdenie Tolstogo // Bunin I.A. Sobr. soch.: v 6 t. M.: Xud. lit., 1988. T. 6. S. 5–146.
4. *Gorelov A.A.* E'kzistencial'ny'e osnovy' «duxovnogo rozhdeniya» L.N. Tolstogo // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2014. № 1. S. 142–152.
5. *Zen'kovskij V.* Istoriya russkoj filosofii. M.: Akademicheskij proekt, Raritet, 2001. 880 s.
6. *Il'in V.N.* Mirosozerczanie grafa L'va Nikolaevicha Tolstogo i ego mesto v istorii filosofii XIX veka. V svyazi s sud'bami pessimizma. SPb.: RXGI, 2000. 480 s.
7. *Kotel'nikov V.A.* E'stetika i kritika Konstantina Leont'eva // Leont'ev K.N. Poln. sobr. soch. i pisem: v 12 t. T. 9. SPb.: Vladimir Dal', 2014. S. 497–573.
8. *Leviczkij S.A.* Oчерки по истории русской философии. М.: Канон, 1996. 496 с.
9. *Pomerancz G.* Otkry'tost' bezdne. Vstrechi s Dostoevskim. М. SPb.: Centr gumanitarny'x iniciativ, 2013. 416 с.
10. *Tolstoj L.N.* Zapiski sumasshedshego // Tolstoj L.N. Sobr. soch.: v 14 t. M.: Xud. lit., 1952. T. 10. S. 337–345.
11. *Tolstoj L.N.* Ispoved' // Tolstoj L.N. Ne mogu molchat'. M.: Sov. Rossiya, 1985. S. 39–97.
12. *Shestov L.* Na vesax Iova. М.: АСТ; Хар'ков: Фолио, 2001. 464 с.

V.V. Varava

Existential Origins of Anarchism by L.N. Tolstoy

The article analyzes the existential experiences of L.N. Tolstoy, which influenced the formation of his moralistic and anarchist attitudes. It is emphasized in the article that in relation to the work of the writer the concept of «anarchism» is used not in the classical political sense, but in connection with the ethical rethinking of social reality. The idea of destroying the universal social convention, in which evil, death and untruth form the core of values is the core of existentially understood anarchism.

Keywords: existence; ethics; death; convention; «Arzamas horror».